

Длинное бременчатое здание турбазы стояло на берегу Томи, в полукольце густого пихтарника. Было осеннее межсезонье, начало ноября, и турбаза пустовала. Мы с товарищем приехали сюда, чтобы провести тут, в безлюдье, несколько дней отпуска, побродить с ружьём, как говаривал мой товарищ, расслабиться на лоне.

Ночами уже прижимали крепкие заморозки, по реке шла шуга. Но снега не было, и промёрзшие травы хрустели под сапогом, точно рыбы кости.

Комендант базы жил в отдельном домике, и когда мы предъявили ему путёвки, он участливо сказал:

– Ребята, вы там околеете, на одну печку работать будете. Поселяйтесь у меня. Не бойтесь – не стесните, да и мне веселее. Два месяца живых людей только издали вижу.

С нами была молодая собака по кличке Онега, благородной и редкой у нас, в Сибири, породы русской борзой. Сгорбленная и сухая, на высоких лапах-ходулях, с узкой щучьей мордой, она невольно останавливала внимание всякого, кто взглянет на неё (когда мы шли по посёлку, одна женщина воскликнула: господи, коромысло какое!).

Взросла Онега в городской квартире, подвергаемая мытью в ванне с шампунем «Фея», никогда не знала холода, и теперь сквозь белую шелковистую шерсть её (надо сказать, очень красивую) кое-где нежно просвечивала кожа. Поджарое брюхо вообще было голым и розовым, как телячье вымечко.

У Онеги также был паспорт с фотокарточкой и длинным списком родословной, и пометкой, что один из прадедов её участвовал в съёмках фильма «Война и мир», или что-то в этом роде, уж не помню.

Словом, мы сразу честно предупредили хозяина дома: собака не может ночевать на улице. Мой товарищ, владелец этой титулованной

животины, заверил, что Онега чистоплотна, как княгиня-аристократка, и что она будет знать определённое место для спанья – под его раскладушкой. На том и порешили.

Надо сказать, у хозяина тоже имелась собака. Так себе собачонка, рядовая дворняга, с репьями на хвосте. Будка её из щелястого консервного ящика, накрытого сверху куском старой плёнки, стояла в углу двора. И кличка у дворняги была проще некуда – Шарик.

Пока мы разговаривали с хозяином, пока заносили свои рюкзаки, располагались, Онега и Шарик неожиданным образом сдружились. Возможно, на принципе единства противоположностей.

Когда я вышел из дому, обе собаки носились вокруг двора – играли в догоняшки. Онега, засидевшись в городе на поводке, бегала сейчас, вскидывая свои костыли, с визгом и радостью, с необыкновенным ощущением свободы и безнаказанности. Шарик же, для которого личная свобода была элементарной вещью, бежал не столько из внутренней необходимости (это было видно по морде), а скорее из чувства гостеприимства и уважения к загородной компании.

Позже я видел их у замёрзшего ручья, в голлизне тальниковых зарослей. Шарик вёл за собой Онегу, беспрестанно над чем-то замирая, нюхая. Несомненно, знакомил со своими местными секретами. Долговязая гостья при этом нависала над мелкорослым другом в виде эдакого вопросительного знака, ибо для неё даже нора какой-нибудь бросовой полёвки была чрезвычайно интригующей и неразрешимой загадкой.

Увидев по ту сторону ручья, на стогу, стрекочущую птицу, Онега в восторге первооткрытия кинулась туда, но вдруг поскользнулась на льду и больно проехала рёбрами по заступам, совершенно неприлично болтая в воздухе лапами. С обидчивым повизгиванием верну-

лась на берг, где сидел Шарик, который явно не понял причины такого взрыва темперамента – неужели из-за глупой сороки?..

Потом они дружно взялись облаивать забредшего во двор бычка. Собственно, облаивал Шарик. У него была на то причина: бычок только что перевернул Шариков ящик и нагло съел соломенную подстилку. Шарик лаял, ругаясь последними словами, а Онега, несколько смущённая крепостью его выражений, приплясывала рядом и только сочувственно бухтела.

До конца дня собаки побывали на ближайшем, ещё не крепко застывшем болотце (где Онега провалилась в грязь по брюхо), пробежались по заросшему лопухом косогору (где Онега нахватала на «штаны» целые гроздья семян) и к сумеркам вернулись, совершенно счастливые своим альянсом и его ближайшими перспективами.

А на ночь Онега была отозвана в дом...

Проснулся утром я первый. Хозяин дома и мой товарищ крепко спали. У порога сидела Онега, повизгивая, требуя выпустить её на улицу. Я оделся, откинул с двери крючок и вслед за собакой тоже вышел на воздух.

Уже рдел рассвет. Иней густо забелил крышу сарая, огородную траву, несброшенную листву ивняка вдоль ручья, шуршал под ногами на досках крыльца – видать, ночью крепко прихватило.

Онега, наскоро совершив свой туалет, резво, радостно забегала по двору. Потом, будто спохватившись, остановилась перед ящиком, тьякнула: где же друг Шарик, почему не спешит разделить с ней радость утреннего пробуждения?

И я подумал тоже: почему?

Из ящика зашелестело, как бы завздыхало. Шарик высунулся сперва мордой, потом наполовину, нюхнул от Онеги воздух – и тут же сдал назад, скрылся.

Онега с недоумением склонила одно ухо, другое, игриво взбрыкнула и легла, положив нос вдоль лап, но мигом вскочила, ожегшись брюхом о заледенелую землю. Снова призывно тьякнула: друг Шарик, это же я – выходи, побегаем!

Но ящик безмолвствовал.

Онега постояла ещё, поджимая поочередно подмерзающие лапы, потом кинулась вокруг дома дурашливым аллюром. Однако бегать в одиночку было неинтересно, и она снова вернулась к ящику, сунулась в отверстие мордой.

И вдруг ящик аж подскокил, осыпав с себя иней и раздалось из него такое злобное рычание, что Онега отпрыгнула и села на хвост, задумалась. На её длинной, как пенал, морде было отчётливо написано: черт побери меня совсем, если я что-нибудь понимаю!

Я подошёл и заглянул под ящик.

Шарик лежал, свернувшись кольцом, со вздыбленной на загривке шерстью, мерцал бусинками глаз. Было заметно, как он дрожит, бедняга. Не от возбуждения, конечно, а от лютого холода.

И мне всё стало ясно как день.

Дружба, пусть и собачья, требует равенства, а здесь это условие было явно попрано. Он, Шарик, живет тут третью зиму, но ни разу ещё не был допущен в дом. А эта городская кочерга только прискакала – и пожалуйста! Переночевала в тепле, пила и ела там, а его всю ночь бил колотун на клочке недожёванной наглым бычком подстилки.

Такого предательства, конечно, прощать было нельзя.

Наблюдая всю эту сцену, я тоже уже изрядно продрог, но решил не уходить пока, а посмотреть, что произойдёт дальше.

Онега стала скакать по двору, нюхать что попало, делать вид, что очень занята.

Наконец Шарик вышел из своего плебейского жилища – хмурый, в клочках соломы. Подошёл к обеденной чашке и стал греметь пустой посудиною. Это была уже явная демонстрация, смысл её был один: вот она, жизнь, кроме того что околеваешь от мороза, тут ещё и пожрать нечего. В то время как от некоторых сухой колбасой пахнет!..

Онега, глядя, как Шарик выкусывает из чашки какие-то пристывшие там кожурки, подбежала, подобрала выпавшую кожурку и тоже стала жевать – из солидарности.

Однако на Шарика это не произвело никакого впечатления. Почесавши за ухом, он встряхнулся и, деловито наклонив морду, потрусил со двора.

Онега было наострилась за ним, но Шарик, не останавливаясь даже, обернулся и показал клычки.

Онега с грустью долго смотрела ему вслед.

Согласимся, что действительно очень грустно, когда друг уходит, даже если искренне не понимаешь – почему.

*Из книги: «Владимир Мазаев.*

*Мы всегда виноваты перед погибшими. Повести, рассказы».*

*Кемеровское книжное изд-во, 1979 г.*

*Гусарова и Тока Курбасова  
от автора.  
В. Мазаев  
22.04.2009г.*